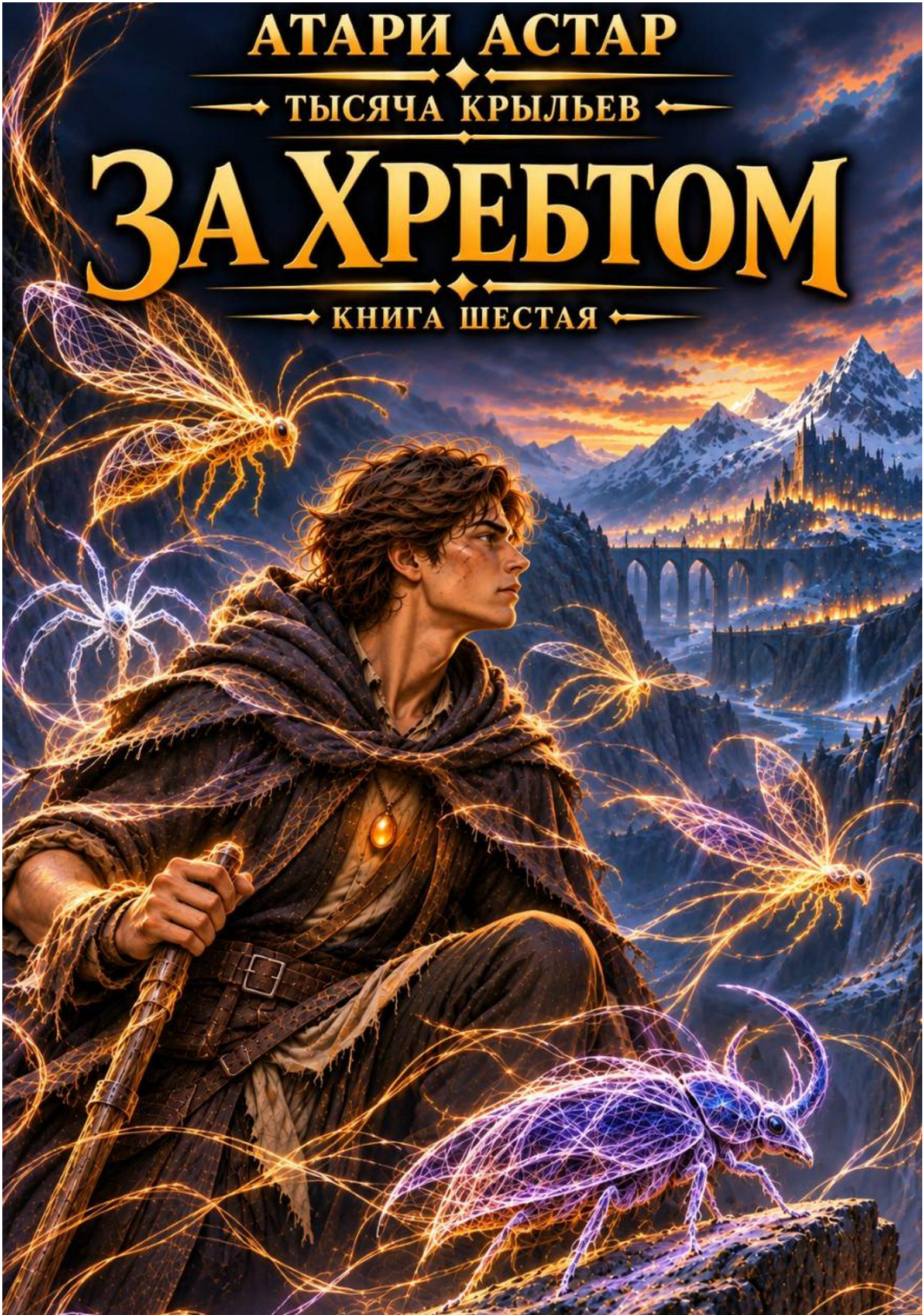

АТАРИ АСТАР
ТЫСЯЧА КРЫЛЬЕВ
ЗА ХРЕБТОМ
КНИГА ШЕСТАЯ

Атари Астар

За хребтом

«Тайниковский»
2026

Астар А.

За хребтом / А. Астар — «Тайниковский», 2026

Я думал, что самое страшное уже позади.Мы спасли детей из соляных шахт, остановили тех, кто превращал людей в живые батарейки, и даже пережили встречу с кораблями под чёрными парусами.Но, похоже, я ошибался.Однажды ночью в Истмаре целая улица оказалась заперта магией. Ни дверей, ни окон. А внутри — двое детей, один из которых едва не погиб.И знаете, что самое страшное? Это произошло не случайно.Кто-то научился пробуждать магическую силу у детей задолго до положенного срока. За большие деньги. Через боль и страх.А следы ведут туда, куда я меньше всего ожидал вернуться. В родные края. К старым тайнам моего учителя. И дальше — за хребет, где нас ждут люди, о существовании которых Империя предпочитает молчать.Меня зовут Тэйн. Я лесоруб, который умеет плести насекомых из магических нитей.И если кто-то решил, что дети — это удобный способ получить силу, ему придётся познакомиться с моими жуками.Только вот за хребтом даже они могут оказаться бессильны.

© Астар А., 2026
© Тайниковский, 2026

Содержание

Глава 1. Ставни 6
Глава 2. Ранний огонёк 13
Конец ознакомительного фрагмента. 20

За хребтом

Тысяча крыльев

Глава 1. Ставни

Кухарка прибежала на мост босиком.

Я запомнил это лучше всего остального: её ноги. Белые, широкие, в серой уличной пыли до щиколоток, и одна ступня в крови — она где-то наступила на битое стекло и не заметила. Она колотила в дверь седьмой опоры обоими кулаками, без всякого стука «три — пауза — два», которого не знала, и колокольчик над дверью, тот самый, что Гарр отлил весной из колокола Хэлма, звенел у неё над головой тонко и сердито, как будто тоже хотел, чтобы ей открыли поскорее.

Открыл Бо. Он спал на диване в общей комнате, ближе всех к двери, и проснулся раньше, чем кто-нибудь успел спросить, кто там.

— Дом, — выдохнула кухарка. — Дом закрылся.

Великан посмотрел на неё сверху вниз. Потом через плечо, на меня.

Я сидел за столом с Лейном. Была душная летняя ночь, одна из тех, когда река под мостом не остывает до утра, а от досок пахнет смолой и тиной. Мы не спали, потому что Лейн не мог уснуть — он теперь почти никогда не мог, налитая Искра жгла его изнутри, как печка, которую забыли прикрыть, — и я учил его держать огонёк на кончике одного пальца. Не на ладони, на пальце. Ему это казалось ужасно смешным, а мне ужасно важным, и мы оба были правы.

— Какой дом? — спросил я.

— Суконщика Тревиса. На Суконной, — женщина хватала воздух ртом. — Я вышла к колодцу. Ведро только опустила. Обернулась, а он… ставни… дверь… — она развела руками, как будто показывала что-то круглое и гладкое. — Нету щелей. Нигде нету. А дети там.

— Сколько детей?

— Двое. Нора и Нед. Хозяева на ужине у суконщиков, в Палате, до утра, а я с детьми, я одна, я на минутку…

— Обувь надень, — велела Уна.

Прачка стояла на нижней ступени лестницы с галереи, в ночной рубахе, с двумя седыми косами до пояса и с трубкой. Я так и не узнал за три года, спит ли Уна вообще или просто ложится, чтобы мы не беспокоились.

Кухарка посмотрела на свои ноги и, кажется, впервые увидела кровь.

* * *

Нас вышло семеро.

Я, Сорен, Рия, Бо, Лейн — того нельзя было оставить, он уже натягивал сапоги и кричал «я тоже», а если Лейн кричит «я тоже», то держать его дома выйдет дороже, чем взять. Тиль с посохом. И Сэлин.

Сэлин я нашёл на нижней ступени у воды, там, где площадка спускается к лодке. Она сидела там почти каждую ночь с тех пор, как мы вернулись из Тирры. Спала она плохо. Говорила, что тень растёт по ночам и это больно, как будто кто-то медленно разгибает ей пальцы после мороза. Жила она в маленькой комнате за мастерской Корра, в самом низу опоры, где стены сырые и пахнет рекой. В той самой, где когда-то зимовали Каэлен и Айла. Сэлин выбрала её сама. Никто с ней не спорил.

— Там ребёнок, — сказал я.

Островитянка поднялась, ни о чём не спросив. Плащ Сорена — серый, ей длинный — волочился по мокрым камням.

Суконная улица лежит в Верхнем городе, за Мостом Весов, в двадцати минутах быстрого шага от нас. Мы добежали за десять. Кухарку нёс Бо — посадил на плечо, как мешок с мукой, и она держалась за его голову обеими руками и показывала дорогу, а Бо шёл и молчал, и прохожие расступались.

Дом я узнал издалека. Не потому, что знал Тревиса. Просто перед ним стояла толпа.

* * *

Это был хороший дом. Три этажа, нижний каменный, верхние в тёмных дубовых балках, с белой штукатуркой между ними, с резным коньком на крыше и с медным ключом над дверью — знак суконщиков. Окна в частом свинцовом переплёте. Такие дома строят люди, у которых деньги водятся давно и которые хотят, чтобы это видели.

Ставни на окнах были закрыты. Все, на всех трёх этажах.

И это были неправильные ставни.

Я не сразу понял почему. Я стоял в толпе и смотрел, а Сорен рядом со мной тоже смотрел, и Рия, и никто из нас ничего не говорил. Ставни как ставни. Дубовые, крашенные зелёным. Только между ставней и рамой не было щели. Ни волоска. Будто дерево ставни и дерево рамы срослись. И дверь — та же история: тяжёлая, окованная, с медной ручкой в виде ключа, а по краю, где у любой двери на свете есть тёмная полоска, — гладко. Как кожа на зажившем ожоге.

Дом не заперли. Дом закрыл глаза.

Перед дверью стоял сержант ночной стражи с топором. Мокрый от пота, красный, злой. На двери у его ног — свежие светлые зарубки. Неглубокие. Будто он рубил не дуб, а камень.

— Отскакивает, — пожаловался он мне, хотя я ни о чём не спрашивал. — Третий топор. Отскакивает, как от наковальни.

Он узнал меня. Я видел, как он меня узнал: по рукам, по лицу, по Бо за моей спиной. Мы теперь были великая гильдия. Нас узнавали.

— Лесоруб, — произнёс сержант с облегчением человека, которому наконец можно перестать рубить.

* * *

Я положил ладонь на дверь.

Дерево было тёплым. Летняя ночь, конечно, но не так. Оно было тёплым изнутри, как бок у спящей собаки. И под ладонью что-то двигалось. Очень мелко, очень часто. Толчками.

Я выпустил двух бурых.

Они вытянулись из ладони, как всегда: нити света цвета мокрой коры, челнок туда-сюда, контур, узелки глаз, кольца на спинке, — и через вдох на двери сидели два древоточца в полладони, тяжёлых, тёплых, с жвалами, сплетёнными так плотно, что те светились почти сплошь. В толпе кто-то ахнул. Кто-то засмеялся — нервно, не зло. Всё равно засмеялся. Три года прошло, а люди всё ещё смеются, когда видят моих жуков в первый раз. Я перестал обижаться где-то на второй год.

Жуки вгрызлись в край двери.

И соскользнули.

Не затупились, как о гвоздь, и не застряли, как в мокрой древесине. Соскользнули. Жвалы проехали по дубу, как по стеклу, оставив тонкую блестящую царапину, которая тут же затянулась у меня на глазах. Будто дерево поморщилось.

Я закрыл глаза и пошёл в жука.

Это я умею давно. Бурый сидит в дереве — и всё дерево становится моим ухом. Каждый шаг по доскам, каждый голос за стеной. Я ждал, что дом откроется мне, как открывались все дома, амбары, склады и мосты, в которые я когда-либо сажал жуков.

Дом не открылся.

Он был закрыт и для меня. Дерево слушалось, но так, как слушается сжатый кулак: плотно, напряжённо, всё стянуто к середине. И сквозь эту стянутость, очень далеко, будто сквозь толстое одеяло, я услышал две вещи.

Первая — дыхание. Маленькое, частое, сбитое. Ребёнок, который плакал так долго, что больше не может, и теперь только икает.

Вторая — голос. Девчоночий, тихий, на одной ноте. Он считал.

«Ранний огонёк, ранний огонёк,

кто зажёгся рано — тот и лёг.

Раз — горит, два — горит,

три — под снегом спит».

И снова, с начала. И снова.

Я открыл глаза.

— Что? — спросил Сорен.

— Считалка, — ответил я. — «Ранний огонёк».

Разведчик поднял брови. Её знают все. В Хольдмарке мы считались ею, кому водить в прятки; в Истмаре, как оказалось, тоже, только последняя строчка у них была «три — под камнем спит». Никто никогда не думал, что она значит. Считалка и считалка. Кто на «спит» — тот водит.

— Это не дом, — тихо сказала Сэлин.

Островитянка стояла у меня за плечом и смотрела на дверь. Не глазами — как-то иначе, я так и не научился у неё спрашивать как.

— Это плетение, — пояснила она. — Молодое. Очень. Оно дышит, видишь? Быстро. Как испуганный, — Сэлин помолчала. — Это ребёнок, лесоруб. Это не замок. Это ребёнок, который закрылся.

* * *

Я хотел сказать, что такого не бывает.

Детям не плетут. Детей ведут к Камню в восемнадцать, после урожая, в окружной город, как меня вели в Ардейл. До восемнадцати Искра спит — так говорят в каждой деревне Империи и так написано на каждой стене каждой Службы Наполнения. «Раннее пробуждение опасно».

Но я видел Лейна в двенадцать, с горящими рукавами, на галереях Кедрового квартала. Я видел Тиль у соляного столба. Я видел Крыло Вёсен. Я знал, что такое бывает. Я просто никогда не видел, чтобы это случалось в хорошем доме на Суконной улице, с медным ключом над дверью.

Хлопнуло.

Громко, сухо, как доска о доску. Толпа шарахнулась. Я обернулся.

Дверь соседнего дома — узкого, в два этажа, с вывеской пуговичника — захлопнулась сама. Изнутри закричала женщина. Потом — ставня на втором этаже. Хлоп. Потом ещё одна. На наших глазах по краю двери пуговичника побежала гладкость — та самая, как кожа на ожоге, — от петель к ручке, и щели не стало.

И дальше, через дом. Хлоп.

— Оно растёт, — сказала Рия.

Кузнечиха уже держала огонь. Не в кулаке — на ладони, ровный, белый по краю, как в кузне у её отца, когда металл готов. Рия на моих глазах из девочки, у которой на ладони зажигались три искры, если её разозлить, выросла в высокий Тиар, и печать горна у неё на руке светилась теперь по ночам сама. Она не спрашивала, что делать. Она ждала, что я скажу.

Все ждали. Это до сих пор было странно. Три года назад меня выставили на смех из «Высокого Шпиля» за трёх жуков и кровь из носа. Теперь на Суконной улице люди отходили от двери и смотрели на меня.

Я подумал о валке. Отец всегда говорил: сначала смотри, куда дерево хочет упасть, а потом уже бери топор. Это дерево хотело падать во все стороны сразу.

— Новые закрываются медленнее, — сказал я. — Видите? У пуговичника край ещё мягкий. Его можно открыть, пока не затянулось. Бо, Сорен, Рия, Лейн — по соседям. Двери, ставни, что угодно, лишь бы щель. Людей — на улицу. Рия — жги край, пока он не застыл. Только край, не дом.

— Я жгу только край, — обиделась Рия. — Я всегда жгу только край.

— Ты сожгла Корру занавеску.

— Это был край занавески.

— Я помогу, — встрял Лейн. — Можно я помогу? Я могу тоже край…

— Ты держишь свет, — ответил я. — Для Бо. Чтобы он видел, за что тянуть. На ладони, ровно. Не на пальце.

Мальчишка открыл рот, закрыл его и зажёг на ладони огонёк с яблоко. Жёлтый, спокойный. Он был очень доволен, хоть и делал вид, что нет.

— Я дам ещё железных, — добавил я. — На петли.

Я сплёл двух железных — нити цвета холодного металла, вдвое крупнее бурых, — и посадил одного Бо на плечо, второго Сорену на рукав. Железный стоит мне втрое дороже бурого, но петли у этих домов были кованые, а железо берут только они. Одна петля — одна дверь. Одна дверь — одна семья на улице, а не внутри.

— А ты? — спросил Сорен.

— А я туда, — я кивнул на дом Тревиса. — С Сэлин и Тиль.

Разведчик посмотрел на дом. На меня.

— Через что? Он же закрыт.

— Сверху, — пояснил я. — На крыше черепица. Черепицу кладут внахлёст. Между черепицами дом не может срастись — там нечему.

Я не знал этого. Я просто надеялся.

* * *

На крышу соседнего дома мы влезли по водосточной трубе и по плечам Бо, а оттуда до конька Тревиса было три шага по краю, над улицей, с которой на нас смотрела вся Суконная. Тиль шла по краю босиком, посох — поперёк, как канатоходец. Она с южного берега, там дети с пяти лет бегают по мокрым бортам лодок. Сэлин шла так, будто под ногами не край крыши, а пол в «Смоляной бочке». Я шёл последним и думал, что сын лесоруба должен бы не бояться высоты, и всё равно боялся.

Черепица на доме Тревиса была красная, старая, местами с мхом.

И между черепицами не было щелей.

Я сел на корточки и тронул ладонью. Гладко. Тепло. Дышит. Дом закрылся целиком, как раковина.

— Хорошо, — пробормотал я. — Значит, не черепица.

— А что? — спросила Тиль.

— Эфироточцы.

Я сплёл двоих. Они тоньше бурых и дороже — каждый как два бурых, — нити цвета сумерек, тёмно-синие с фиолетовым отливом, жвалы как иглы. Они грызут не дерево и не железо, а то, что сплетено держать: щиты, барьеры, Покров, заклятые замки. На Турнире они прогрызали щиты знатным кандидатам за десяток вдохов. Если этот дом закрыт плетением — они его возьмут.

Эфироточцы сели на черепицу и вгрызлись.

Плетение под ними треснуло. Я почувствовал это через нить — тонкий хруст, будто ломаешь первый лёд на луже. Получилась дырочка с ноготь. С палец. С ладонь. Под ней — тёмная черепица, настоящая, обычная, с щелью.

А потом дырочка затянулась.

Не сразу — она закрывалась за жвалами, как вода за веслом. Эфироточцы грызли, и край тут же нарастал заново, мягкий, живой, перепуганный. Как у человека, который зажимает рану рукой.

— Он не даёт, — сказала Сэлин. — Ему страшно.

— Мне тоже, — признался я.

Тиль села рядом со мной на черепицу. Положила посох на колени. В навершии посоха, в плавниковой шишке, сидел мой бурый. Ещё с Хэлма я сажаю туда жука каждый раз, как Тиль берёт посох в дорогу, и он держится там сам, как часовой, даже когда я о нём забываю. Тиль закрыла глаза.

Вокруг нас стало тихо.

Это её почерк — тишина. Не та, когда никто не шумит. Другая. Как в лесу перед снегом. Звуки улицы под нами — крики, хлопки ставен, голос сержанта — ушли куда-то вниз и в сторону, будто их накрыли ладонью. Осталось только дыхание дома под нами. Быстрое, рваное.

И оно стало чуть медленнее.

Не намного. Но я почувствовал через эфироточцев: край, который нарастал за их жвалами, нарастал теперь не так торопливо. Тише. Как будто тот, кто внутри, на миг прислушался.

— Тиль, — попросил я. — Держи так.

— Держу, — ответила девочка, не открывая глаз.

* * *

Мне нужно было, чтобы дыра не закрывалась. Хотя бы на десять вдохов. Хотя бы на столько, чтобы трое пролезли.

Удержать. Не дать сомкнуться.

Я подумал о Кожевенной. О ночи, когда мне нужно было удержать Угря, с которого соскальзывала любая верёвка, и из ладони сами, впервые, полезли жемчужные пауки. Паутина вдов держит не кожу. Она держит эфир.

А край этой дыры был весь — эфир.

Я сплёл четырёх вдов. Жемчужных, обычных, без яда — тут яд был ни к чему. Они вышли из ладони беззвучно, как всегда: тельце с лесной орех, восемь тонких лап, на спинке круги, как от капли на воде, изнанка речной ракушки. Сэлин смотрела на них. Она видела их в Чаше, на кораблях, в Хэлме. И всё равно смотрела.

— Эфироточцы грызут, — произнёс я вслух, больше для себя. — Вдовы держат край. Каждая — свой край. Как держат мешок, чтобы насыпать зерно.

Вдовы разошлись по четырём сторонам от эфироточцев. Ждали. Эфироточцы прогрызли дыру с ладонь — и в тот же вдох четыре вдовы выбросили нити на четыре её края и потянули.

Края пошли в стороны.

Медленно, тяжело — так тянешь мокрую холстину. Каждая нить звенела у меня в ладони. Плетение дома билось, рвалось обратно, хотело сомкнуться, а вдовы держали, потому что паутина вдов держит эфир, а держать — это единственное, что они умеют лучше всего на свете. Эфироточцы грызли дальше. Дыра росла. С две ладони. С локоть. С плечи.

Под ней показалась черепица — настоящая, с щелью и мхом. Я сорвал три черепицы руками и бросил вниз, во двор. Под ними — обрешётка, балка. Бурые прогрызли обрешётку за пять вдохов — тут уже было обычное дерево, оно слушалось.

Под обрешёткой — темнота. И запах. Спёртый, тяжёлый, как в погребе, где долго не открывали дверь.

— Воздух, — сказала островитянка. — Ему не хватает воздуха. Им обоим.

Я посмотрел на свою ладонь. Нити вдов тянули из неё, как четыре вожжи из рук возницы. Из двадцати четырёх нитей, которые у меня были, я держал уже двадцать три. Двое бурых у двери внизу, двое железных у Бо и Сорена, двое эфироточцев, двое бурых здесь, бурый в

посохе Тиль, четыре вдовы. И держать вдов на этой дыре было как держать тяжёлое бревно на вытянутых руках: можно, но не долго.

— Тиль, — сказал я. — Ты остаёшься здесь. Держишь тишину. Если она закроется, когда мы войдём, — стучи посохом. Три — пауза — два. Я услышу через бурого.

Девочка открыла глаза. Посмотрела на дыру. На меня.

— Ты пахнешь, как дерево, — сказала она. Так она мне сказала в первый раз, в Хэлме, когда я вылез из старой штольни. С тех пор Тиль говорит это каждый раз, когда я делаю что-то, что ей не нравится. — Иди.

Сэлин спустилась первой. Легко, без звука, как будто всю жизнь лазила в чужие дома через крыши. Наверное, так и было. Я никогда не спрашивал, чему её учили в том «доме», где не кормили тех, кто проиграл.

Я полез за ней.

* * *

Чердак. Сухие балки, старые сундуки, развешанное бельё — простыни, детские рубашки, — белое в темноте, как призраки. Сквозь дыру над нами падал свет фонарей с улицы, узким столбом, и в этом столбе плыла пыль.

Я спрыгнул на доски. Бурый, которого я посадил на балку, сразу отдал мне весь чердак: вот сундук, вот прогиб в половице, вот лестница вниз, вот люк. Дерево здесь, внутри, было не таким стянутым, как снаружи. Будто дом закрылся только с краю — как человек, который прячет лицо в колени, а спина у него открыта.

— Внизу, — прошептала Сэлин. — Она внизу. Я слышу.

— Как?

— Она считает, — ответила островитянка. — Тихо. Я так тоже считала. В «доме». Когда запирали.

Я посмотрел на неё. Сэлин не смотрела на меня. Она смотрела на люк.

Внизу, сквозь доски, я тоже теперь слышал. Бурый на балке передавал мне: дыхание — маленькое, икающее, где-то на втором этаже, у стены. И голос — ниже. Ещё ниже. На первом этаже или под ним. Ровный, на одной ноте.

«…три — под снегом спит».

Я оглянулся на дыру в крыше.

И увидел, как она закрывается.

Не потому, что вдовы отпустили. Вдовы держали. Это я почувствовал первым: нити в ладони дёрнулись все разом, четыре вожжи, будто кто-то с той стороны рванул их на себя. Плетение дома набрало воздуха — я не знаю, как ещё сказать, — и сжалось. Разом. Как ребёнок, которого схватили за руку, сжимается всем телом.

Вдовы лопнули.

Все четыре, одна за другой. Я почувствовал каждую — четыре укола в голову, в висок, за глаз, — и они распустились там, наверху, жемчужной паутиной, повисли в столбе фонарного света и погасли, как искры над костром. Края дыры сомкнулись. Столб света сузился до ладони. До пальца. До волоса.

И пропал.

* * *

Стало темно.

Совсем. Так темно, как бывает только в закрытом погребе или в старой штольне. Я поднял руку к лицу и не увидел её. Пахло пылью, бельём и чем-то сладковатым, тяжёлым. Спёртым воздухом, которым дышали уже слишком долго.

Где-то наверху, очень далеко, сквозь черепицу и сросшееся плетение, бурый в посохе Тиль передал мне стук.

Три. Пауза. Два.

Она была там. Она держала тишину. Но дыры больше не было.

— Лесоруб, — произнесла Сэлин в темноте. Совсем рядом. Ровно, как всегда. — Мы внутри.

— Я заметил.

— Мы не выйдем, пока она нас не выпустит.

— Это я тоже заметил.

Я стоял на чердаке в полной темноте, с кровью, которая медленно, тёплой ниткой, ползла у меня из носа. Над нами был закрытый дом. Под нами была девочка, которая сама закрыла его, как раковину, и пела считалку, которую я знал с четырёх лет.

«Ранний огонёк, ранний огонёк…»

Внизу, под полом, на втором этаже, маленький мальчик перестал икать.

Я слушал, как стало тихо в том месте, где он дышал.

Глава 2. Ранний огонёк

Первым делом мне нужен был свет.

Я сплёл светляка. Это легко, он стоит мне одну нить, как бурый: жучок с ноготь, мягкий, вытянутый, нити золотисто-зелёные, как огоньки над летним лугом в Хольдмарке, когда мы с братьями ночью ходили к реке. Брюшко у него — фонарик, плотный узел плетения. Фонарик светится тем, что в нём есть.

А в нём не было ничего.

Светляки пьют чужое: дикий эфир, остаток заклинания, свет кристалла, вырвавшийся огонь. В Аэвене зимой они пили сонную пыль Сэлин и сияние Кассиана. Здесь пить было нечего. Плетение дома было закрыто, сжато, оно никуда не текло, не плескалось, не капало. Светляк сидел у меня на ладони и тлел тускло-тускло, едва заметной зеленцой, как гнилушка в лесу. Он светился тем, что оставалось во мне самом, а я только что потерял четырёх вдов, и в голове у меня стучало.

— Рия бы зажгла, — произнесла Сэлин в темноте.

— Рии тут нет, — ответил я. — И огонь ест воздух. А воздуха тут и так мало.

Я и сам это чувствовал. Дышалось тяжело, будто грудь стянули ремнём. Сладковатый, спёртый запах. Где-то под нами лежал мальчик, который перестал икать.

Я посмотрел на тусклого светляка и подумал: а если дать ему своего?

Я никогда так не делал. Не было нужды. Светляк — это батарейка, которую я сплёл себе сам, когда отказался быть батарейкой у Службы. Батарейку наполняют, чтобы потом из неё взять. Наливать в неё своё, чтобы оно же и светило, — всё равно что носить воду из колодца в ведро, чтобы потом напиться из ведра. Отец бы спросил, не ушибся ли я головой.

Но мне нужен был свет, а не умный способ.

Я сжал светляка в ладонях, как птенца, и стал отдавать. Медленно. Тонкой струйкой, как отдают в кристалл в зале Службы Наполнения, — я видел это в Истмаре, видел в Аэвене, видел, как старые батарейщики дремлют над своими кристаллами, а эфир уходит из их ладоней ровно, как молоко из кувшина. Я не умел так ровно. У меня выходило толчками.

Один вдох. Пять. Десять.

Фонарик у светляка разгорался. Сначала зеленел, ярче и ярче, как положено. Потом зелень пожелтела. Потом ушла в оранжевое. К двадцатому вдоху между моими пальцами светилось густое, тяжёлое, красно-рыжее. Не золото, не луг. Угли в горне, когда Рия раздувает их мехом. Светляк стал тяжелее — не по-настоящему, он ничего не весит, — но держать его было как держать в горсти тёплый камень. Ладони грело. Чуть сильнее, чем мне хотелось.

Я раскрыл руки.

Чердак проступил из темноты. Красный, неровный свет, как от костра. Балки, сундуки, бельё на верёвке — простыни теперь были розовые, а тени от них длинные и дрожащие.

Островитянка стояла в трёх шагах и смотрела на светляка. Свет проходил сквозь неё, как сквозь мутное стекло. Сквозь руки, сквозь плечи. Её собственная тень на полу была бледной, короткой, ещё не дорисованной — она росла каждый день, но пока не догнала хозяйку.

— Это не их цвет, — заметила Сэлин.

— Знаю.

— Он горячий.

— Знаю. Пошли.

* * *

Люк в полу открылся. Внутри дом и правда был не так стянут, как снаружи. Лестница вниз — узкая, крутая, с отполированными за много лет перилами. Я посадил на перила бурого.

Дерево отдало мне второй этаж: три двери, коридор, комнату в конце. И в комнате у дальней стены, на полу, — маленькую тяжесть. Неподвижную.

Мальчик лежал у стены, под окном. Под ставней, которая срослась с рамой. Лет шести, светлоголовый, в ночной рубашке. Он, наверное, долго стучал в эту ставню. Костяшки на обеих руках были сбиты. Потом сел, потом лёг. Губы синеватые.

Сэлин опустилась рядом, положила ладонь ему на грудь. Серебро на её пальцах — тонкие светлые линии, которые уходят под кожу до второй фаланги и глубже, к сердцу, — чуть засветилось.

— Дышит, — тихо сказала она. — Мало.

Я поднял его. Он весил не больше охапки хвороста. Голова мотнулась мне на плечо. Красный свет светляка лёг ему на щёку, и мальчик поморщился во сне, будто от солнца.

— Хорошо, — шепнул я ему. — Морщись. Это хорошо.

Мне стало страшно за него по-настоящему только тогда, на лестнице, с ним на руках. До этого было некогда.

* * *

Голос шёл снизу. Из-под первого этажа.

«…кто зажёгся рано — тот и лёг…»

Кухня — большая, с медными сковородами на стене, с остывшей плитой. Мука на столе. Кухарка, наверное, собиралась ставить тесто на утро. Дверь в погреб — в углу, за печью. Открыта. Внизу — темнота и ступени.

Я отдал Неда Сэлин. Островитянка взяла его так, будто держала детей всю жизнь. Может, и держала. В «доме» были младшие.

Внизу пахло яблоками, сыром и холодом. Хороший погреб, глубокий, сухой. Полки с банками, бочонок, связки лука. И под лестницей, в стене, — дверь. Низкая, дубовая, окованная полосами. Чулан. Такой есть в каждом зажиточном доме: туда прячут серебро, вино, бумаги.

Плетение здесь было таким плотным, что я почувствовал его кожей, не жуками. Воздух у чулана дрожал, как над дорогой в жаркий полдень. Дверь не просто срослась с косяком. От неё во все стороны, по стенам погреба, по потолку, вверх, через весь дом, тянулось что-то невидимое, натянутое, как жилы. Здесь была середина. Здесь был кулак, который сжимал весь дом. И вся улица.

И за дверью кто-то считал.

— Нора, — позвал я.

Счёт оборвался.

Тишина была долгой. Светляк у меня в ладони тихо гудел. Красным.

— Ты кто? — спросил голос. Детский, хриплый, сорванный. Девочка, наверное, сначала кричала. Потом начала считать.

— Тэйн, — ответил я. — Из-под моста. Лесоруб.

— С жуками?

— С жуками.

— Мне Нед про тебя рассказывал, — она помолчала. — Он хотел, чтобы ты ему показал. Он у кухарки спрашивал, можно ли пойти на мост.

— Покажу, — пообещал я. — Обязательно. Выходи, и я обоим покажу.

— Не могу.

— Почему?

— Папа сказал, — ответила она. Очень просто. Так дети говорят про погоду. — Папа сказал: пока не загорится как следует — не выпустит. Тот дядя ему сказал. Что когда страшно — оно горит. А когда горит — оно растёт. А в темноте страшнее всего.

У меня внутри стало холодно. Совсем, до дна.

— Он тебя запер? Здесь?

— Каждый вечер, — сказала Нора. — Неделю. А сегодня я так испугалась, что оно… закрылось. Всё. Он меня запирает, а я теперь сама, — голос задрожал. — Я не знаю, как открыть. Я не умею. Я пробовала. Оно не слушается. Оно только сильнее.

* * *

Я выпустил эфироточцев. Двоих, оттуда, сверху, с крыши, — они пришли ко мне по нити через весь дом, тёмно-синие, игольчатые, и сели на дверь чулана.

И в первый же вдох обожглись.

Я почувствовал это раньше, чем увидел. Жвалы коснулись плетения — и плетение ответило. Не треснуло, как на крыше. Дёрнулось навстречу, горячо, как рука, отдёрнутая от огня, и плеснуло в жуков. Первый эфироточец распустился сразу: сумеречная паутина вспыхнула на дубе и погасла. Второй продержался вдох — я видел, как его жвалы входят в невидимый узел, как узел расходится на волос, — и тоже распустился.

Два укола в голову. Не лёгких. Я сел на нижнюю ступеньку, потому что ноги решили за меня.

— Тэйн? — позвала девочка из-за двери. — Ты здесь?

— Здесь.

— Не уходи.

— Не уйду.

Это не замок. Сэлин была права. Замок — это плетение, которое сделано держать, и эфироточцы распускают его узел за узлом, потому что узлы ни о чём не думают. Здесь узлы думали. Здесь было одиннадцатилетнее «не трогайте меня», натянутое на весь дом.

Светляк в моей ладони гудел. Громче, чем раньше.

Я посмотрел на него и понял, что он горячий. Не тёплый — горячий, как кружка с только что налитым кипятком. И фонарик уже не красный. Он был светлее. Рыжий, с белым в самой середине, как железо, которое Рия вынимает из горна, когда оно уже готово под молот.

Я не наливал больше. Я только держал его — и сидел, обожжённый двумя отдачами, перед дверью, за которой плакала девочка. И, кажется, всё, что во мне в ту минуту было — злость на её отца, на того дядю, страх за Неда, — всё это текло через нить в светляка само. Как вода течёт вниз.

Корр потом сказал, что так и бывает. Своё уходит в своё легче, чем чужое. Чужой эфир светляк держит, как держат чужую монету: аккуратно, потому что надо отдать. Своё он брал, как губка воду.

— Тэйн, — окликнула Сэлин сверху, с лестницы. — Брось его.

Я не успел.

* * *

Он лопнул у меня в руке.

Не так, как лопается переполненный светляк. Это я видел в Кедровом квартале, у Лейна: переполненный светляк вспыхивает, как сноп соломы, ярко и с жаром, и после этого надо проморгаться. Это было иначе. Меньше света — и в десять раз больше жара. Как будто из горна плюнули в лицо. Короткое, рыжее, тяжёлое, с низким звуком — не хлопок, а «умф», как бывает, когда в печи загорается разом всё, что туда натолкали.

Ладонь обожгло насквозь.

Бурый у меня на плече — тот, которого я снял с перил, чтобы слушать погреб, — распустился сразу, будто его сдуло. И второй светляк, тусклый, которого я держал наверху, у Сэлин на плече, для Неда, — тоже. Я почувствовал их обоих: два укола, как будто это не эфир, а иголки. Мои же особи. Моим же огнём.

А на двери чулана, на высоте моей груди, светилась дыра.

Ровная, круглая, с кулак. Края дуба тлели красным — не горели, не дымили, а именно тлели, светились изнутри, как остывающая лава в горне, медленно темнея. И плетение вокруг

дыры — тот самый горячий, думающий узел, который сжёг двух эфироточцев, — было прожжено тоже. Насквозь. Будто его там и не было. Я видел его края — они висели в воздухе, оборванные, мёртвые, и не нарастали обратно.

Я смотрел на это и не мог понять, что сделал.

Потом из дыры на меня посмотрели два глаза.

* * *

Нора была маленькой для одиннадцати. Худой, с длинными тёмными волосами, спутанными, мокрыми у лица. Она сидела в чулане на полу, обхватив колени, между ящиком с серебром и бочонком вина. Глаза — огромные, круглые, с красными точками отблеска.

— Это ты сделал? — спросила девочка.

— Не знаю, — честно ответил я. — Наверное.

— Больно было?

Я посмотрел на свою ладонь. Посередине — круглый ожог, белый, вздувшийся пузырём, а в самой середине его, крошечная, ещё светилась красная точка. Как уголёк под пеплом. Я смотрел, как она гаснет.

— Немного, — признался я.

Островитянка спустилась по лестнице. Отдала мне Неда. Наклонилась к дыре.

— Нора, — сказала она. Ровно, тихо. Голос у Сэлин такой — как будто поёт, даже когда не поёт. Мэб с первого дня от этого морщится. — Я дам тебе руку. Ты её возьмёшь?

Девочка смотрела на неё через дыру.

— Ты светишься, — прошептала она.

— Немного, — ответила Сэлин. — Ты тоже. Это пройдёт.

Островитянка просунула руку в дыру. Тонкую, серебряную. Нора смотрела на неё долго. Потом протянула свою.

Они коснулись пальцами.

Я видел, как Сэлин усыпляет. В Чаше она коснулась Рии — и Рия упала на полуслове. Её сон всегда падал, как топор.

Сейчас было иначе.

Серебро на её пальцах засветилось — не ярко, бледно, как луна сквозь облака. И Нора не упала. Нора зевнула. По-детски, широко, во весь рот. Моргнула. Привалилась к бочонку. Ещё раз зевнула. И уснула — медленно, как засыпают дети, которых долго качали.

Сэлин не убирала руку.

— Раньше было не так, — очень тихо произнесла она. Не мне. Себе. — Раньше они падали. А теперь засыпают.

Я ничего не сказал. Она это сказала не для того, чтобы ей отвечали.

* * *

Дом вздохнул.

Я не знаю, как ещё сказать. Сначала дрогнуло под ногами, как дрожит пол мельницы, когда отпускают жернов. Потом наверху, далеко, скрипнуло. Потом стукнуло. Ставня. Ещё одна. Потом весь дом — снизу доверху — затрещал, загудел, застонал, как старое дерево на ветру, и дверь чулана, прожжённая, обугленная по краю дыры, вдруг стала просто дверью. С тёмной полоской щели вдоль косяка.

Сквозь погреб потянуло воздухом.

Холодным, свежим, ночным, с запахом улицы, лошадиного навоза и чьей-то стряпни. Нед на моих руках закашлялся. Мокро, тяжело, на всю грудь. И заплакал.

Я засмеялся. Не знаю почему. Просто засмеялся, стоя в погребе, с ревущим мальчишкой на руках и с ожогом на ладони, и Сэлин посмотрела на меня так, будто я сошёл с ума, а потом и она — уголком губ, совсем чуть-чуть.

Наверху, из-под крыши, через бурого в посохе Тиль, пришёл стук.

Три — пауза — два. И сразу ещё раз. И ещё, быстрее, будто она подпрыгивала.

* * *

Мы вынесли их через парадную дверь. Через ту самую, на которой сержант оставил зарубки. Она открылась сама, со скрипом, будто ничего и не было. Медная ручка в виде ключа была тёплой.

Улица встретила нас светом.

Лейн стоял посреди Суконной с огоньком над головой — уже не с яблоко, с хорошую тыкву, — и светил всем. Рия у колодца, с подпалённым рукавом, с сажей на лбу. Сорен на крыльце пуговичника, со вторым железным жуком на рукаве; железный посмотрел на меня узелками глаз так, будто тоже был доволен. Бо — у дома напротив, серый по локти, как всегда, когда держит тяжёлое, и рядом с ним, на мостовой, лежала дверь. Целиком, с петлями. Он её не открыл. Он её вынул.

— Девять домов, — доложил Сорен, подходя. — Все вышли. Пуговичник с женой, вдова Харт с котом, какой-то писарь в ночном колпаке, который требует, чтобы мы заплатили за дверь…

— Не заплатим, — отрезала Рия.

— Не заплатим, — согласился разведчик. — Я ему сказал, что Бо может вставить обратно. Он передумал.

Великан посмотрел на дверь на мостовой. Потом на писаря. Писарь отошёл за спину сержанта.

Тиль спустилась с крыши по водосточной трубе, легко, с посохом за спиной. Подошла ко мне. Посмотрела на Нору у Сэлин на руках, спящую, с мокрыми от слёз щеками. На Неда у меня на руках, ревущего уже в полную силу. На мою ладонь.

— Ты пахнешь, как горн, — сказала девочка.

Это было что-то новое.

* * *

Тревисы приехали через полчаса, в наёмной карете, прямо из Палаты гильдий, с ужина суконщиков. Он — высокий, полный, в тёмно-синем бархате, с медным ключом на цепи поперёк груди. Она — маленькая, в жемчуге, бледная. Её я запомнил хуже. Она ничего не говорила. Она взяла Неда у меня из рук и села с ним прямо на ступени, в своём ужинном платье, и больше ни на кого не смотрела.

А Тревис посмотрел на Нору.

На то, как она спит на руках у Сэлин. И на дверь своего дома, открытую, с зарубками от топора. И на соседей, которые стояли на улице в ночных рубашках, — и на меня.

Он всё понял. Я видел, как он понял. Это было как смотреть на человека, у которого из-под ног медленно уходит лёд.

— Она… — начал он.

— Закрылась, — ответил я. — И закрыла улицу. Девять домов.

Иса подошла сзади. Я не видел, откуда она взялась. Счетовод всегда появляется там, где есть стража, потому что, где есть стража, будут бумаги, а где бумаги — там нужна Иса. В сером платье, с книгой под мышкой, с пером за ухом. Она встала рядом со мной и посмотрела на Тревиса снизу вверх, хотя была ниже его на голову.

— Мастер Тревис, — произнесла она. — Сколько вы заплатили?

Суконщик открыл рот. Закрыл.

— Двести, — очень тихо сказал он. — Ауреонов.

Сержант за его спиной присвистнул.

— Как Кавеллы, — пробормотал Тревис. Будто это что-то объясняло. — Кавеллы своего мальчика тоже будить собираются. Советник Кавелл. Все знают. И Ардены будили. Высокие дома все будят, вы думаете, почему у них кровь сильнее? — голос у него поднялся. — Он

сказал, в одиннадцать — самое время. Сказал, к восемнадцати будет Кандел. Кандел! Моя Нора! Не батарейка у кристалла, не суконщица, а…

— Кто сказал? — спросил я.

Суконщик посмотрел на меня. Губы у него дрожали.

— Мастер Орт, — ответил он. — Сайлас Орт. Он двадцать лет держал Камень. На Раскрытиях. В окружных городах, по всему Северу. Он знает, как это делается. Он сказал — запирать в темноте. Чтобы разгорелось. Он сказал, все так делают.

* * *

Счетовод протянула руку.

— Расписка, — потребовала она.

Тревис долго не понимал, чего она хочет. Потом полез за пазуху, в бархат, и вынул сложенный вчетверо лист. Хорошая бумага, с водяным знаком.

Иса развернула лист. Поднесла к огоньку Лейна.

Я заглянул ей через плечо. Почерк — мелкий, аккуратный, с наклоном, писарский. «Получено от мастера Аммона Тревиса, суконщика, двести ауреонов золотом. За учение. С. О.» И дата.

Иса долго смотрела на лист. Потом провела по строчке пальцем. Медленно, от начала к концу. На слове «учение» палец остановился.

— Горько, — сказала она.

Тревис моргнул.

— Это слово врёт, — пояснила Иса. Она так и держала палец на нём. — Остальное — правда. Получено, двести, золотом, от вас. А это — врёт. Тот, кто писал, знал, что пишет не то, — она подняла глаза на меня. — Я раньше так не умела. С бумагой. Чтобы одно слово.

— А теперь умеешь, — заметил я.

— Теперь — да, — кивнула счетовод. Свернула лист и убрала в свою книгу. — Горько.

* * *

Нору забрали к нам, на мост.

Не потому, что мы так решили. Сержант стражи посмотрел на неё, на Сэлин, на дом, на девять дверей, одна из которых лежала на мостовой, и сказал, что не знает, куда девать ребёнка, который закрывает улицы. В кордегардию — нельзя. Домой — нельзя, пока не приедут из Реестра. А Реестр, как сказала Иса, приедет из Аэвена не раньше чем через десять дней, даже если гонец загонит трёх лошадей.

— Под мост, — решил сержант. С облегчением человека, который нашёл, куда положить топор.

Мать Норы ничего не сказала. Она так и сидела на ступенях с Недом, пока мы уходили. Тревис стоял над ней. Я обернулся у угла. Он всё ещё стоял.

Мы шли домой по пустому ночному Верхнему городу, через Мост Весов, вниз, к реке. Лейн впереди, со светом. Бо с дверью — он так и нёс её под мышкой, никто не понял зачем, а спрашивать никто не стал. Сэлин со спящей Норой. Тиль с посохом. Рия рядом со мной, держала мою обожжённую руку в своих — печать горна у неё на ладони тихо светилась, и ожог под ней не жёг. Грел.

— Покажи, — попросила Рия у самого моста.

Я разжал ладонь. Ожог был круглый, ровный, будто к руке приложили раскалённую монету.

Кузнечиха смотрела на него долго. Она дочь кузнеца. Она понимает в ожогах больше, чем любой лекарь в Истмаре.

— Это не мой огонь, — сказала она. — И не Лейна. И не Хорвена. Это… — Рия нахмурилась, подбирая слово. — Это как будто сталь горит. Не дерево. Сталь. Сама.

— Это был светляк, — ответил я. — Я налил в него своего. Для света.

— И он прожёг дубовую дверь?

— И плетение на ней. Насквозь, — я сжал пальцы. Было больно. — И двух моих. Рядом.

Подруга ничего не сказала. Только посмотрела на меня так, как смотрит её отец на новый клинок, который вышел из горна не таким, как задумано, — и непонятно пока, лучше или хуже.

* * *

Уна ждала нас на площадке над третьей опорой. С трубкой. В той же ночной рубахе.

Прачка посмотрела на Нору у Сэлин на руках. Посмотрела долго.

— Ко мне, — сказала Уна. — В мою комнату. Сэлин — с ней.

Потом подняла глаза и посмотрела мимо нас. На галерею наверху, на окно над дверью общей комнаты.

В окне стоял Вард.

Он вернулся на мост вместе с нами весной и с тех пор почти не выходил. Сидел наверху, в своей комнате, где раньше годами никого не было. Иногда спускался к ужину и садился на свой стул во главе стола, единственный стул в комнате, где все остальные сидят на лавках. Иногда стоял у окна. Большой, как дуб, седой, с одним серым глазом и одним белым.

Сейчас мастер смотрел вниз. На Нору.

И впервые за всё время, что я его знал, я увидел у Варда на лице что-то, что не умел назвать сразу. Только потом, много позже, понял. Так смотрят на пожар, который ты уже однажды видел. Издалека, давно, — и думал, что больше не увидишь.

— Лесоруб, — негромко позвал Вард из окна, но я услышал. — Поднимись. Когда положишь девочку.

Я поднял голову.

— Она пела считалку? — спросил старик.

— «Ранний огонёк», — ответил я.

Вард закрыл глаза. Оба. Серый и белый.

— Поднимись, — повторил он.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.